

М-Е-САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



Михаил Салтыков-Щедрин
Убежище Монрепо

«Public Domain»

1882

Салтыков-Щедрин М. Е.

Убежище Монрепо / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1882

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) родился в старой дворянской семье, в селе Спас-Угол, Калязинского уезда Тверской губернии. Десяти лет от роду он поступил в Московский дворянский институт, а два года спустя – в Царскосельский лицей. Здесь еще были свежи воспоминания о первом, легендарном, пушкинском выпуске. По традиции каждый курс в лицее имел своего поэта, и одним из таких стал Салтыков-Щедрин. Однако литературное дарование писателя раскрылось гораздо позднее и на другой стезе. Мрачноватый юмор его повестей и отнюдь не детских сказок, гениально созданная атмосфера удушливого ужаса в романе «Господа Головлевы» – все это известно каждому из нас со школьных лет. Мы предлагаем вниманию читателя один из малоизвестных романов Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо» (1882).

© Салтыков-Щедрин М. Е., 1882

© Public Domain, 1882

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР	5
ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Убежище Монрепо

ОБЩИЙ ОБЗОР

– Вы, конечно, на лето уединитесь в свое Монрепо?

– Разумеется! надо же отдохнуть!

Светские диалоги

От чего отдохнуть – это вопрос особый; но уехать на лето во всяком случае надо. Летом города населяются дулебами, радимичами, вятчиками и пр., в образе каменщиков, штукатуров, мостовщиков, совместное жительство с которыми для культурного человека по многим причинам неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время ездил по летам в подмосковную. Имение это я приобрел тотчас вслед за уничтожением крепостного права и купил, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первых, осматривал имение зимой, чего никто в мире никогда не делает; во-вторых, напал на продавца-старичка, который в церкви во время литургии верных приходил в восторженное состояние – и я поверил этой восторженности. Старичок служил когда-то по провиантскому ведомству и потому был благодушен и гостеприимен. Зазвал меня обедать, накормил настоящим малороссийским борщом и угостил киевской наливкой. Потом сам поехал со мной осматривать усадьбу, где велел сварить суп из курицы и зажарить карасей в сметане, причем говорил: «Курица эта здешняя, караси тоже из здешнего пруда, а в реке, кроме того, водятся язи, окуни и вот такие лини!» Затем начался осмотр. Выйдя на крыльцо господского дома, он показал пальцем на синеющий вдали лес и сказал: «Вот какой лес продаю! сколько тут дров одних... а?» Повел меня в сенной сарай, дергал и мял в руках сено, словно желая убедить меня в его доброте, и говорил при этом: «Этого сена хватит до нового с излишечком, а сено-то какое – овса не нужно!» Повел на мельницу, которая, словно нарочно, была на этот раз в полном ходу, действуя всеми тремя поставами, и говорил: «здесь сторона хлебная – никогда мельница не стоит! а ежели еще маслобойку да крупорушку устройте, так у вас такая толпа завсегда будет, что и не продерешься!» Сделал вместе со мной по сугробам небольшое путешествие вдоль по реке и говорил: «А река здесь какая – ве-се-ла-я!» И все с молитвой. Скажет, и перекрестится, и зрочками вверх поведет, и губами пошевелит, словно на вся и на всех призывает благословение божие. Только в заключение рассердился. Погрозился кулаком на крестьянский поселок, населенный новоиспеченными временнообязанными, и присовокупил: «Все из-за них, канальев! Кабы не они, подлецы, кажется, ни в жизнь бы из этого рая не выехал!»

Словом сказать, очаровал меня искренностью. И что еще больше мне понравилось: слабых сторон имения не скрыл. «Вот службы легонькие, это так! и озимое по милости подлецов незасеянное осталось – этого тоже скрыть не могу!» Но при воспоминании о «подлецах» опять рассердился и присовокупил: «Впрочем, дело об них уж в уголовной палате решено; вот как шестьдесят человек березовой кашей вспрыснут, так до новых веников не забудут!»¹

¹ Всего в имении числилось 160 ревизских душ (ревизия была в 1859 году), в том числе, разумеется, наполовину подростков и малолетних. Решение московской уголовной палаты действительно состоялось в этом роде, но сенат его отменил, и дело, кажется, кончилось ничем. (Авт.)

При каком-то осмотре присутствовал и местный сельский батюшка, который скромно пощипывал бородку, не подтверждая, но и не отрицая.

Я был тогда помоложе и ни к каким хозяйственным делам прикосновенным не состоял. Случились в кармане довольно большие деньги (впрочем, данные взаймы), но я как-то и денег не понимал: все думал, что конца им не будет. Словом сказать, произошло нечто вроде сновидения. Только одно, по-видимому, я знал твердо: что положено начало свободному труду, и земля, следовательно, должна будет давать вдесятеро. Потому что в то время даже печатно в этом роде расчеты делались.

Замечательно, что я родился и вырос в деревне. До десяти лет я жил в деревне безвыездно; потом, когда начались странствования по казенным заведениям, ежегодно на летние вакации приезжал в побывку домой. Я знал, что такое лес, и множество раз даже хаживал туда за грибами и ягодами; я умел отличить ячмень от ржи, рожь от овса; я видел, как возят навоз на поля, как пашут, боронят, сеют, жнут, молотят, косят. И за всем тем решительно ничего не понимал. Воистину, это была не действительность, а сновидение, от которого задержались в сознании только лишённые всякой связи обрывки...

Родители мои слыли в своей стороне за очень опытных и рачительных хозяев. Они «сами во все входили», чего в то время было совершенно достаточно, чтоб заслужить репутацию «хозяина». Каждый вечер староста приходил в барский дом с отчетом об успехе произведенных в течение дня работ; каждый вечер шли бесконечные разговоры, предположения и сетования; отдавались приказания на следующий день, слышались тоскливые догадки насчет ведра или дождя, раздавались выражения: «поголовно», «брат на брата» и другие сельскохозяйственные термины в крепостном вкусе. Я очень часто присутствовал при этих переговорах и, помнится, даже интересовался ими, тем более, что рядом с ними шли распоряжения и насчет домашних запасов, которые в виде варенья, соленья, сушенья и квашенья производились во множестве. Перед моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходил тот кропотливый процесс, при помощи которого создается так называемая полная чаша. Я видел эту полную чашу во всех ее проявлениях: в амбарах, наполненных всякого рода хлебом, в погребах и кладовых, на скотном дворе, в плодовых садах и проч. Везде, по всей усадьбе, словно в муравейнике, с утра до ночи копошились люди и всё припасали и припасали. А ночью около полной чаши похаживал сторож и бил в чугунную доску. Все это я видел, знал наизусть и мог даже своими словами все рассказать, однако и за всем тем ничего не понимал. Очевидно, тут был какой-то изъян. Я знал формы, в которых проявлялось созидание полной чаши, но не понимал внутреннего содержания этих форм. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилий, физического труда, изнеможений, пота, ропота и отчаяний, которыми сопровождалось устройство полной чаши. Кажется, что я думал так: стоит папеньке с маменькой только приказать старосте Лукьянычу – и у нас будет и рожь, и овес, и сено...

Поэтому, когда я покончил с вопросом о подмосковной, то есть совершил купчую крепость и вступил во владение, то сонное видение еще некоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчас же обнаружались факты, которые должны были бы самого заспанного человека заставить прийти в себя. А именно: густой и высокий лес, на который мне указывал пальцем старичок-продавец, оказался чужой, а *мой* лес был низенький и редкий; вместо полных сенных сараев оказались искусно выведенные из сена стенки, за которыми скрывалась пустота; на мельнице помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сено на лугах «временем родится», а «временем – нет», да и сено – «с осочкой». Одно вышло справедливо: службы были легонькие, то есть совсем ветхие, а речка действительно веселая: излучистая, сверкающая и вся в зеленых берегах.

Тем не менее я не впал в уныние и начал деятельно приспособляться в своем новом гнезде. «Сонные видения» детства, отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себе и нечто такое, что залегло во мне довольно прочно. А именно: они положили

основание убеждению, что всякий человек имеет как бы естественную потребность в своем собственном угле. Там он сосредоточит все заветное, пригретое, приголубленное; туда он придет после изнурительных скитаний по белу свету, чтоб успокоиться от жизненных обид; там он взлелеет своих детей и даст им возможность проникнуться впечатлениями настоящей, ненасурмленной действительности; там он почувствует себя свободным от всяческой подлой зависимости, от заискиваний, от унижительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словом сказать, представление об этом «собственном угле» было всегда до того присуще мне, что когда жить за родительским хребтом сделалось уже неловко, а старое, насиженное гнездо, по воле случая, не дошло до рук, то мысль об обретении нового гнезда начала преследовать меня, так сказать, по пятам.

И, как сказано выше, я это гнездо обрел.

Я не буду рассказывать здесь историю моих хозяйственных походов. Это было что-то фантастическое. Неудача во всем. Хлеб, по виду, казалось, хорош родился, а в амбар его дошло мало («стало быть, при молотье не доглядели», объяснили мне «умные» мужички); клевер и тимофеевка выскочили по полю махрами («стало быть, неровно сеяли: вот здесь посеяли, а вот здесь пролещили»). Два года, однакож, я упорствовал, то есть сеял и жал, но на третий – смирился. Или, говоря другими словами, начал смотреть на свое имение как на дачу для двух-трехмесячного летнего пребывания. Нарушил все хозяйственные затеи, а так называемую «угоду», за исключением усадьбы, сдал крестьянам за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворения скромных издержек по управлению и сам удрал в Петербург.

При таком упрощенном взгляде дело шло кое-как ровно пятнадцать лет. Я ездил по летам в свое собственное Монрепо и не без удовольствия взирал на «веселую» речку, которая сверкала перед самыми окнами господского дома. По временам на островок, образуемый мельничной запрудой, налетал соловей и грохотал и заливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольствие, хотя и кратковременное, потому что к утру соловей уже был непременно подкараулен и изловлен фабричными из соседнего села. Во всяком случае, я жил без мучительных помыслов о дожде или вёдре, без легкомысленных догадок о том, что в данную минуту происходит в поле: произрастает или не произрастает. Ничего «своего» у меня не было, так что за каждой безделицей я посылал в Москву, и, к удивлению, все выходило и лучше и дешевле, нежели при хозяйственной заготовке. Был у меня, правда, небольшой огород, каждую весну засаживаемый неумелыми руками, но и он не заставлял моего сердца сжиматься, так как я с первого же года понял, что овощи в этом огороде будут поспевать как раз ко дню моего выезда из деревни в город.

Напоследок, однако ж, обнаружилось, что и с упрощенным взглядом бесконечно жить невозможно. Появилась целая серия фактов довольно странного свойства. Лес (хоть и не тот высокий, который мне рекомендовал старичок-продавец, но все-таки был лес) перестал произрастать. Березовая роща, которую я застал в качестве «опушечки», так и осталась опушечкой через пятнадцать лет. Осиновая роща, которую я сам срубил, в чаянии, что осина идет ходко, представляла через пятнадцать лет голое место, усеянное пеньками («стало быть, коров по ём пасут», объяснили «умные» мужички, они же и арендаторы). Поля загубели; луга, дававшие когда-то мягкое сено, начали давать почти исключительно острец. Таковы были последствия крестьянской аренды и моего упрощенного взгляда на имение. В самом доме оказывались изьяны, которые предвещали в ближайшем будущем очень серьезный расход. В парке дорожки до того заросли, что для расчистки их тоже требовалась целая уйма денег. К довершению всего, так как усадьба отстояла от крестьянского поселка не близко и как с нарушением хозяйства прислуги при усадьбе содержалось мало, то ночью брала невольной оторопь. Правда, что в нашей стороне об «лихих» людях слухов еще не было, но верст за десять, за двенадцать, около станции железной дороги, уже «пошаливали». Припоминая стародавние русские поговорки, вроде «неровён час», «береженого Бог бережет», «плохо не клади» и проч., и видя, что

дачная жизнь, первоначально сосредоточенная около станции железной дороги, начинает подходить к нам все ближе и ближе (один грек приведет за собой десять греков, один еврей сотню евреев), я неприметно стал впадать в задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. В короткий пятнадцатилетний период моего владения подмосковной почти весь землевладельческий состав кругом меня изменился. В ближайшей ко мне старинной княжеской усадьбе с вековыми лесами, со знаменитыми оранжереями и с прекрасно устроенным господским домом в течение двух лет переменялось два владельца, из коих один – еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли люди, прикосновенные к постройке храма Христа спасителя, пришел адвокат, выигравший какое-то волшебное дело и сейчас же поспешивший сделаться «барином»; наконец, появился грек, который, поселившись в версте от меня, влез в нашу скромную сельскую церковь и выстроил себе что-то вроде горнего места, дабы все видели как он, Самсон Дюбекович, своего бога почитает. Остались незыблемыми только два старинных и замечательно крупных землевладельца, из тех, которых уж никакие изъятия заставить врасплох не могут.

Задумчивость моя усугублялась с каждым годом. Пришельцы-соседи устраивались поновому и проявляли поползновение жить шумно и весело. Среди этой вдруг закипевшей жизни, каждое движение которой говорило о шальной деньге мой бедный, заброшенный пустырь был как-то совсем не у места. Ветшая и упавая, он как бы говорил мне: беги сих мест, унылый человек!

И я внял этому голосу, хотя и не без внутреннего волнения. В окна, главное, дуло, да и об кухне шли слухи, что скоро совсем там готовить кушанье будет нельзя. Приходилось или зле погибнуть или уйти.

Я выбрал последнее и лыщу себя надеждой, что в самую пору.

Но в ту минуту, как я уходил, старинное стремление к гнезду вдруг опять закопошилось во мне. «Каким же это образом? – думалось мне, – ужели я так-таки и останусь без собственного Монрепо?»

Оставим Энгельгардтам доказывать, что полевое хозяйство может приносить барыши, сами же займемся разрешением вопроса: что такое культурный человек и чего, собственно, он может ожидать от деревни?

Культурный человек вообще есть личность, в значительной степени пользующаяся досугом, имеющая более или менее отчетливые представления о комфорте и жизненных удобствах, охотно делающая экскурсии в область эстетики и спекулятивного мышления, но очень редко обладающая прикладными знаниями, то есть тем именно орудием, которое более всего необходимо, чтоб быть деятелем-земледельцем. Недаром генерал Шангарнье, приглашая однажды французское собрание разойтись по случаю каникулярного времени, рисовал картину успокоения на лоне природы, с эклогами Вергилия в руках.

Хотя речь почтенного генерала возбудила в известной части собрания смех, но, в сущности, он вполне правильно охарактеризовал отношения культурного человека к сельской природе. Не полеводство нужно культурному человеку, а только общий вид полей. Ему нужны: прогулка, отдых, много воздуха, отсутствие волнений, беззаботность, по временам дружеская беседа с единомышленными людьми, по временам – одиночество, пожалуй, хоть с Вергилием в руках. Не труда ищет он в сельском убежище, а безмятежного растительного существования, которое служило бы поправкой пряностям, изнурившим его в городе.

Наш русский культурный человек носит на себе те же родовые черты, как и западноевропейский. Разница только в том, что у него еще больше досуга, а интеллектуального запаса значительно меньше. Сверх того, как мы ни стараемся о насаждении классицизма, но русский культурный человек в деле знакомства с древними классиками и ныне едва ли идет дальше басен Фэдра, иметь которые в качестве настольной книги несколько, впрочем, совестно. Поэтому он Вергилия заменяет какой-нибудь другой умственной пищей, смотря по

степени личного развития каждого, от Дарвина и Молешотта до Золя и Ксавье де Монтепена включительно.

Я вполне понимаю потребность, ощущаемую русским культурным человеком, – воспользоваться двумя-тремя летними месяцами, чтоб восстановить себя на лоне природы, и не нахожу ее ни незаконной, ни достойной осмеяния.

Зима, проводимая большею частью в городе, действует изнурительно. Я не говорю уже о спертom воздухе в помещениях, снабженных двойными рамами и нагреваемых усиленной топкой печей, – этого одного достаточно, чтобы при первом удобном случае бежать на простор; но кроме того у каждого культурного человека есть особое занятие, специальная задача, которую он преследует во время зимнего сезона и выполнение которой иногда значительно подкашивает силы его. Какого рода эти задачи и есть ли от них какой-нибудь прок – это другой вопрос; но так как они не считаются противозаконными, то для большинства этого совершенно достаточно. У нас есть, прежде всего, целая армия чиновников, которые с утра до вечера скребют перьями, посылают в пространство всякого рода отношения и донесения и вообще не разгибают спины, – очевидно, им отдых нужен, хотя бы для того, чтобы очнуться от тех «милостивых государей», с которыми они девять месяцев сряду без усталости ведут отписку и переписку. Затем есть масса дельцов: адвокатов, биржевиков, сводчиков, концессионеров, журналистов и т. п., которые тоже шестнадцать часов в сутки мелькают и мечутся, – очевидно, отдых нужен и им. Наконец, существует множество людей, которые утром занимаются деланьем визитов, а вечером посещают театры, цирки, балы, шпигбалы, игорные дома, рестораны, – и им тоже необходим отдых, потому что иной одним культивированием коковок так себя за зиму ухлопает, что поневоле запросится вон из города.

Я знаю, что все эти кипения и мелькания грошовой, а иногда даже и вредные, но так как люди, находящиеся на страже, ничего против них не имеют, то тем менее могу иметь против них что-нибудь я, которому вообще ничего и ни от кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать факт изнурения – и делаю это.

Само собой разумеется, что большинство культурных людей из тщеславия, а также и ради того, чтобы не порвать совсем с зимними пакостями, стремятся по преимуществу в Павловск, в Петергоф, в Озерки и т. д. Что они там обретают, какую природу, какой восстанавливающий воздух, какое питание, – я этого не знаю. Я отроду не жила в этих местах и, надеюсь, никогда жить не буду, как ни соблазнительны описания озерковских шпигбалов с оркестром Главача и кухней Ломача. К счастью, не все Заманиловки подверглись разрушению, а потому есть еще достаточно большая масса культурных людей, которые, не заглядывая в Озерки, устремляются к старинным «собственным» пепелищам. Одни едут поневоле, потому что хоть и распостылая эта Заманиловка, а все-таки *своя*, и надо за ней присмотреть, чтоб окончательно ее не расхитили; другие – потому что и в самом деле не понимают летнего житья иначе, как в настоящей деревне, с настоящими полями и настоящим лесом.

Надо, впрочем, сказать правду, что для того, чтоб прожить в современной Заманиловке три-четыре месяца кряду, требуется некоторая храбрость. Очень уж нынче там глухо и неприглядно. Во-первых, пусто, потому что домашний персонал имеется только самый необходимый; во-вторых, неудовлетворительно по части питья и еды, потому что полезные домашние животные упразднены, дикие, вследствие истребления лесов, эмигрировали, караси в пруде выловлены, да и хорошего печеного хлеба, пожалуй, нельзя достать; в-третьих, плохо и по части газетной пищи, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю, не расположена вблизи станции железной дороги (это было в особенности чувствительно во время последней войны); в-четвертых, не особенно весело и по части соседей, ибо ежели таковые и есть, то разносолов у них не полагается, да и ездить по соседям, признаться, не в чем, так как каретные сараи опустели, а бывшие заводские жеребцы перевелись; в-пятых, наконец, в каждой Заманиловке культурный человек непременно встречается с вопросом о бешеных собаках. Как ни

исключительным представляется этот последний вопрос, но он очень существен. Каждое лето непременно откуда-то (откуда – никто даже определить не может) забежит желтенькая, сивенькая или черненькая собачка, худая, с помутившимися глазами и опущенным хвостом, перекусаёт на деревне целую уйму собак, а затем поднимет переполох и на господской усадьбе. И долго потом эта сивенькая собачка живет в воображении детей и женщин, заставляя их озираться во время прогулок и мешая рискнуть забраться куда-нибудь подальше от жилья, в луга, в лес.

Я уже не говорю о развлечениях амурных, хотя и не без вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивейшего и художественнейшего описателя наших бывших «дворянских гнезд», у которого на каждого помещика (молодого и образованного) непременно приходилась соответствующая помещица.

Но люди, для которых деревня почему-либо составляет необходимость (хотя бы ради связи с прошлым или ради приобретения ясного представления о рваном русском мужике), охотно примиряются со всеми этими неудобствами за те воистину восстанавливающие (физически и умственно) блага, которыми она обилует. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь из них ту сумму обновленных сил, которая нужна для бодрого перенесения предстоящих в зимний сезон задач (в чем бы они ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину полного и невозмутимого безмятежия. А отсюда первая и главная обязанность: немедленно, всецело и навсегда удалить от себя всякие сельскохозяйственные распоряжения и предприятия. Эти последние волнуют и изнуряют пуще всех огорчений, которые испытывает культурный человек во время длинного зимнего сезона, потому что они не дают ни отдыха, ни срока, преследуют ежеминутно и производят тем большую досаду, что, в сущности, цена каждой из них, взятой в отдельности, – грош. В эту самую минуту, когда я пишу эти строки, в окна моей комнаты барабанит дождь, а между тем теперь самое горячее время для уборки сена, которого везде подкошено множество. Благо тому культурному человеку, у которого нет ни сена в лугах, ни хлеба в полях, потому что, будь все это, он непременно бы мучился. Он думал бы: «Ах, сено сгниет! ах, рожь прорастет!» – и, несмотря на мокропогодицу, выбежал бы на улицу. Зачем бы он выбежал? что мог бы сказать или присоветовать? – он и сам, наверное, не ответил бы на эти вопросы; но выбежал бы несомненно, потому что его подстрекнул бы к тому демон собственности. И в результате оказались бы: потеря времени и простуда. Тогда как, свободный от сена, ржи и овса, он может спокойно, «в надежде славы и добра», посматривать в окно и думать: «А вот сейчас разгуляется, и я, как обсохнут дорожки (летом земля сохнет изумительно быстро), пойду в парк...»

Что сельскохозяйственные заботы тиранят ежеминутно – это аксиома, которая, я полагаю, не требует доказательств. Природа действует огнюдь не по писаному и почти всегда все людские предположения переворачивает вверх дном. Но все-таки скажу, что культурного досужего человека эти заботы тиранят не в пример сильнее, нежели заправского земледельца. Для культурного человека – все новость, все сюрприз; и при этом, ежели у него, с одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, с другой стороны, ровно столько же досуга он имеет и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящего земледельца нет времени мучить себя; для него нет сюрпризов, он ко всему привык и всего ожидает. Он знает, что, как бы ни велико было количество сюрпризов, он, земледелец, в конце концов все-таки «управится», то есть одолеет личным трудом все, что в данную минуту одолеть можно. А культурный человек – что он знает? Он глядит на непросветное небо и думает: «Ах, все погибло!» Сверх того он видит, что «хамово отродье», нанятое для собирания плодов земных в житницы, сидит мокрое под навесом и бьет баклуши, и это опять волнует его...

Культурный человек бесконечно легковверен и притом в высшей степени одарен художественными инстинктами. Вот почему для него выгоднее совсем не родиться на свет, нежели возгореть страстью к полеводству. Будучи по воспитанию совершенно чужд прикладных зна-

ний, он обыкновенно приступает к сельскохозяйственному делу с печатной книжкой в руках. Но он читает эту книжку не глазами обыкновенного смертного, а глазами воображения, забывая, что ничто так легко не поддается подкupu, как воображение, подстрекаемое жаждою барыша. Это воображение рисует ему урожаи сам-десять и сам-двенадцат (в «книжке» они доходят и до сам-двадцат); оно рисует ему коров, не тех тощих фараоновых, которые в действительности питаются мякинным ухвостьем на господском скотном дворе, а тех альгаузских и девонширских, для которых существует урочное положение: полтора ведра молока в день; оно рисует молотилки, веялки, жатвенные машины, сеноворошилки, плуги и пр. – и все непременно самое прочное и достигающее именно тех самых результатов, которые значатся в сельскохозяйственных руководствах, а иногда и просто в объявлениях братьев Бутеноп. В результате происходит радостный сельскохозяйственный апофеоз. Культурный человек не принимает в расчет ни ведра, ни дождя, ни ветров, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что в один прекрасный день у привода молотилки вдруг не окажется ремня, а у самой молотилки двух-трех пальцев (вчера еще все было цело, а вдруг за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычислениях сам-десять и сам-двенадцат он снизойдет до принятия в соображение заработной платы серому человеку, приводящему в движение все эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислит аккуратно, как написано в книжке: десятину луга скосить – косцов столько-то, сено сушить – баб столько-то. Короче сказать, он видит барыши и не предполагает ущербов. Сенокос у него всегда сопровождается ведром с легким попрыскиванием дождичка по утрам (надо же и природе что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчее берет), сев никогда не обходится без благоприятного дождя; машины действуют безостановочно и без ремонта, ремни никогда не пропадают и т. д.

Верит «книжке» культурный человек безусловно. Не потому верит, чтобы понимал сущность изложенного в ней, а потому что она, так сказать, предупреждает его желания. Он читает «книжку», как роман, или, вернее, как поваренную книгу, в которой описываются самые лакомые блюда. Читает и, останавливаясь на процессе производства лишь настолько, чтобы не утратилось впечатление общей сельскохозяйственной картины, с радостным нетерпением перескакивает к конечному результату (собираение плодов в житницы), который, разумеется, всегда оказывается благоприятным. Он не хочет знать, что книжку писал человек, обладающий подлинными знаниями (иногда, впрочем, и просто рутинер-шарлатан), который может и неудачу предусмотреть и даже свою собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный человек, ты, воспитанник Федра, – что ты можешь? Ведь ежели ты, на свою беду, вычитал в книге «ошибку», то ты не только не исправишь ее, а, напротив, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обещает тебе сам-десять. И тогда что станется с тем эфемерным зданием, которое создало твое разлакомившееся на барыши воображение?

Понятно, что при такой степени возбуждения художественных инстинктов всякое вмешательство сил природы, мало-мальски не соответствующее заранее облюбованным результатам, кажется посягательством и служит поводом для мучений и проклятий. Зачем ведро? зачем дождь? – вот те несомненно глупые вопросы, которые с утра до вечера раздаются в тех из помещичьих гнезд, где еще не созрело убеждение, что надо все оставить, бросить. Вопросы эти тем глупее, что культурному человеку заранее известно, что они наверное останутся без ответа, так как он не имеет даже средств извернуться или приспособиться к тому, что он называет неожиданностями и подвохами. Серый человек – тот во всякое время, при всяких условиях найдет для себя подходящее дело, которое прямо или косвенно тому же полеводству принесет пользу. Но культурный человек при всяком сюрпризе, изменяющем его план, становится в тупик, не зная, где и как ему возместить затрату, сделанную именно на тот, а не на иной предмет. И велико бывает его изумление, когда он, утешавший себя мыслью (да, он до того озлоблен, что даже может себя утешать неудачами других), что и у других сено почернело и

сгнило, вдруг видит целые массы совершенно зеленого сена, приготовленного заботливыми руками меньшого брата, который не прал против рожна в дождь, но нашел другое приличествующее ненастью занятие: городил городьбу, починял клеть или, наконец, и просто отдыхал.

Я живо помню первые годы, последовавшие за эмансипацией крестьян. В то время, как раз кстати, г-н Бажанов издал книгу о плодопеременном хозяйстве вообще, а г-н Советов – книгу о разведении кормовых трав. Обе читались всласть, как роман, и находилось много людей, которые серьезно думали, что теперь стоит только действовать по писаному, чтобы на землевладельцев полился золотой дождь. Закипела деятельность. Во-первых, в помещичьих усадьбах появились люди, которые прежде никогда в деревнях не жилали, люди преимущественно молодые (старики благоразумно устранились или продолжали доскрипывать век с урочным барщинным положением), оставившие службу и другие занятия и полные веры в вольный труд. Во-вторых, накоплено было множество орудий, о которых до тех пор имелись только смутные представления, как о чем-то редком и недоступном. В-третьих, начался обмен мыслей о том, что пристойнее: сам-десять или сам-двенадцать. В-четвертых, наконец, приступлено было и к действительным распоряжениям по Бажанову и Советову. Богатые люди жертвовали при этом своими избытками, а люди недостаточные отказывали себе в привычном комфорте и смотрели сквозь пальцы на упадок своих жилищ ради того, чтоб купить лучших семян, лучших плугов, плужков, скоропашек и пр. (у Бажанова были и рисунки всего этого приложения). Но с первых же шагов (увы! решительность этих шагов была такова, что, сделавши один, т. е. накупив семян, орудий, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назад, не испивши всей чаши севооборота до дна) хозяйственная практика выставила такие вопросы, разрешения на которые не давал ни Бажанов, ни Советов.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочих, при двух исправных плугах, легко могут вспахать в день казенную десятину. Но ежели они не вспашут – как с этим быть? Доказывать ли, с Бажановым в руках, что священный долг каждого рабочего – вспахать не менее полудесятины? – но они ответят на это: «Итак не гуляли». Броситься ли на тунеядца с распротертými дланями и скверным словом на устах? – но он, как человек, сознающий себя героем *вольного* труда, пожалуй, сам даст сдачи. Судиться ли? – но перед каким судом и где взять критерий для судебной оценки? Рассчитать ли, наконец, неисправного или небойкого работника? – но завтра же другой герой вольного труда не допашет ровно столько же, а быть может и больше. Приходится смириться и сообразно с сим делать поправки в расчетах. А так как это поправки бесконечные, то в конце концов из них образуется целая паутина, в которой человек будет биться, покуда не опостылеет все: и выкладки, и затеи, и поля, и луга, и люди, которые пашут и не допахивают, косят и не докашивают. А сколько было когда-то обмена мыслей по поводу слов: *легко* вспашут полдесятины? Легко? То есть, вероятно, вспашут и больше? Но положим, что только полдесятины; следовательно... А кончилось тем, что хоть бы и не смотреть, как он там на одном месте топчется! Надоело, надоело, надоело.

«Надоело» – это слово очень веское и решительное в человеческой жизни вообще и в особенности в жизни культурного русского человека, изумительная художественная восприимчивость которого требует пищи беспрестанной и разнообразной. Но еще решительнее звучит оно, когда человек начинает прозревать (все с помощью тех же художественных инстинктов), что не столько ему все надоело, сколько он сам всем надоел. Тот же Бажанов, например, говорит, что земледельческие орудия следует держать в нарочито выстроенном сарае и что по окончании дневной работы необходимо их вытереть, потому что иначе железо ржавеет, и инструмент не прослужит и половины урочного срока. Ничего не может быть справедливее этого совета и законнее основанного на нем требования. Но беда в том, что у вольнонаемного рабочего правила о содержании инструментов в опрятности и до сих пор еще не выжжены на скрижалях сердца огненными буквами. Во-первых, у него совсем не болит сердце по хозяйском добре; во-вторых, дома у него такие рабочие орудия, с которыми он никогда не имел надобности cere-

мониться, а следовательно, и вытирать их досуха привычки не приобрел. Он просто не думает о рабочих инструментах и потому не считает уход за ними входящим в круг его обязанностей. Сверх того, хотя он, быть может, и не допахал против урока, но все-таки время свое выстоял и порядком-таки устал. Он спешит выпрячь лошадь, чтобы скорее отужинать и лечь спать, – досуг ли ему с инструментом возжаться? Следовательно, предстоит нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйские орудия во всегдашней исправности. Напомните один раз – он, конечно, выполнит с грехом пополам вашу *прихоть*. Напомните в другой раз – услышите ответ: «Не что ему (или ей) сделается за ночь!» Напомните в третий раз – ответа не последует, но на лице прочтете явственно: «Ах, распостылый ты человек!» Напомните в четвертый раз... но в четвертый раз вряд ли вы и сами решитесь напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надоели, намозолили глаза, и вам совестно.

Вот чего не предусмотрели ни Бажанов, ни Советов, а между тем такого рода недоумения встречаются чуть не на каждом шагу. Везде культурный человек видит себя лишним, везде он чувствует себя в положении того мужа, у которого жена мучилась в потугах рождения, а он сидел у ее изголовья и покряхтывал. Везде, на всех лицах, во всех ответах он читает и слышит одно слово: надоел! надоел! надоел!

И вот, когда он убеждается, что бажановского урочного положения ему поддержать нечем, что инструмент рабочий, на приобретение которого он пожертвовал своим личным комфортом, воочию приходит в негодность, что скот содержится неопрятно, смердит («не кадило!» – ворчит скотница на сделанное по этому поводу напоминание) и обещает в ближайшем будущем совсем выродиться, что сам он, наконец, всем надоел, потому что везде «суется», а «настоящего» ничего сказать не может, – тогда на него вдруг нападает то храброе малодушие, которое дает человеку решимость в одну минуту плюнуть на все плоды многолетнего долготерпения. И он, сломя голову, бежит в объятия земских учреждений, мирового института, полиции и прочих, которые, по крайней мере, дадут ему средства хоть оконные рамы новые сделать в расшатавшейся сверху донизу Заманиловке.

Говорят, что у культурных людей нет достаточных капиталов, которые давали бы им возможность с терпением выждать результатов их сельскохозяйственных предприятий. Капиталов нынче, действительно, в этой среде немного, но едва ли уместно ссылаться на это обстоятельство. Во-первых, вскоре после крестьянской реформы, капиталов, благодаря выкупным свидетельствам, было более, нежели достаточно, а куда они девались? Положим, что хорошая доля их застряла в трактирах Новотроицком и Московском, но, клянусь, целая масса была ухлопана и в землю, для исполнения прихотей Бажанова и Советова. И что же из этого вышло? Во-вторых, хотя капитал и действительно полезная вещь в сельском хозяйстве, но все-таки надо знать, куда и как его употребить. Вот Энгельгардт и без капиталов достиг хороших результатов (я нимало в этом не сомневаюсь), а у культурного человека хоть и целая уйма денег на руках, да он не знает, куда ее швырнуть. Ежели он бросит ее в отходную яму – вырастут ли на дне ее розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставим Энгельгардтам доказывать, что полеводство может приносить барыши, мы же, люди культурной массы, мы, представители бюрократии, адвокатуры, шпицбалов и пр., будем отдыхать кийждо под смоковницей своей, с баснями Федра в руках (все как будто классицизмом припахивает). Я сам с величайшим наслаждением читаю Энгельгардта (особенно летом, в деревне), потому что никто так отчетливо не воспроизводит картину деревни, как он; но я увлекаюсь его писаниями с чисто художественной точки зрения и воздерживаюсь от всякой практической деятельности в подражание ему. Он расчищает «ляда», он сеет лен и мечтает о травосеянии, об альгаузском бычке – все это, конечно, будет ему на пользу. Я же не стану ни «ляда» расчищать, ни льна сеять, потому что в самом благоприятном случае эти занятия явятся лишь пустым препровождением времени; в неблагоприятном же случае...

Паче всего культурный человек должен избегать волнений и огорчений. Деревня нужна ему не ради перспективы копейных прибытков, но ради восстановления подточенной зимним сезоном бодрости. Он должен помнить, что ежели и возможны сельскохозяйственные прибыли, то они возможны, во-первых, для человека, обладающего знанием, и, во-вторых, для человека хотя и рутинера, но постоянно живущего в деревне и не видящего из нее выхода даже в земские учреждения. В большинстве случаев культурный русский человек не подходит ни под одно из этих условий. Знаний у него нет, а в деревне он хочет жить лишь тогда, когда сад его цветет и благоухает и когда в соседней роще гремит соловей. Стоит ли при такой постановке дела гнаться за каким-нибудь двугривенным, которого, вдобавок, еще и не поймал! Стоит ли ради этого двугривенного испытывать волнения и разочарования, которые, повторяю, никогда не кончаются, а только видоизменяются, переходят в новые формы волнений и разочарований?

Нет спора, что и в городах бывают огорчения: обойдут человека чином, проиграет он в качестве адвоката процесс или получит в танцклассе затрещину. Но огорчения эти в большинстве случаев имеют свой корректив. Обойдут чином – стоит только потрафить, понижее поклониться, и чин придет своим чередом; проиграет адвокат процесс – можно взять другой и выиграть; получит затрещину... но что такое затрещина для человека, который, быть может, понятие о танцклассе смешивает с понятием об отечестве? Словом сказать, из всякого городского огорчения можно выйти без особенно чувствительного ущерба. Тогда как для огорчений сельскохозяйственных решительно нет выхода. Они сначала мелькают перед глазами в виде неосуществившихся двугривенных, но чуть только человек не остережется, то непременно выразятся в крупном куше, брошенном в отходную яму, на дне которой не вырастет роз.

Но, скажут мне, все эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до нас в том самом составе и в тех же размерах, в каких они представляются и ныне, то есть со всеми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, в которых растет белоус. Как же поступить с ними? Ужели ограничиться только уплатою за них земских сборов, не попытавши даже, хорош ли там вырастет лен?

Ответ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень прост. Ежели уже существует убеждение (а у человека хладнокровного, осторожного не может оно не существовать), что раскинутость Заманиловок служит лишь источником огорчений, то, разумеется, необходимо принять самые быстрые меры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отделаться от них непременно и безотложно, хотя бы задаром. Придет серый человек в эту самую Тараканиху, где ныне растет белоус, и прольет там свой пот. И, может быть, белоус даст место более доброкачественным злакам... А культурный человек ощутит от этого перемещения ту несомненную выгоду, что освободится от платежа земских сборов за вместилища белоуса.

Я убежден, что первое, что необходимо для культурного человека, – это сокращать и суживать границы своих земельных владений. Дача, как вместилище восстанавливающего воздуха полей, – вот все, что нужно. И притом дача не с ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всеми удобствами, которые легко могут быть созданы на деньги, предназначенные для отходной ямы. Ежели есть при даче «смеющийся» луг, – это хорошо, ежели есть роща, в которой весной поет соловей, – еще того лучше. Излучистая река, тенистые аллеи, пение соловья – вот идеалы культурного человека, но отнюдь не пажити, не леса и не так называемые уголья. Для истребления лесов существуют лесники; для пахоты, бороньбы и косьбы существует целый класс людей, именуемых земледельцами. *Suum cuique*², как говорит Гораций, а может быть, Федр или даже сам Кошанский. Культурный человек должен помнить, что

² Каждому свое (лат.)

он – произведение города; там он сеет и жнет, что ему сеять и жать надлежит. Оклады жалованья, пенсии, аренды, концессии, гонорары за сводничество, полистные и построчные платы – все там. А на лето он наезжает в деревню совсем не для того, чтобы страдать ради двугривенных, а для того, чтобы на досуге обдумать, какие предстоит принять зимой меры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но приумножить и сохранить. И пусть обдумывает. Пускай знает свой дом, свой сад, свой смеющийся луг, свою рощу. А ради сохранения сельского колорита он может завести трех-четыре коров и успокоиться на этом. В результате он будет свободен от огорчений и никому не надоест. И серый человек, глядя на него, скажет: «Вот и видно, что настоящий барин, – живет и ничего не делает!»

Тем не менее, я не могу не сознаться, что жить в деревне и не делать деревенского дела, а только вдыхать ароматы полей, следить за полетом ласточек, читать братьев Гонкуров и упитывать себя для предстоящих зимних подвохов – ужасно совестно. Серый человек хоть и выражается об таком субъекте: вот настоящий барин! но он говорит это только до поры, до времени. Серый человек покуда еще ужасно задавлен, и вследствие этого обещание «на водку» действует на него магически. А «настоящий барин» дает на водку часто и щедро. Он охотно собирает в господской усадьбе по праздникам соседних мужиков и баб, предоставляя им петь, плясать и величать себя, «настоящего барина», и угощает за это пивом, водкой и ломтями черного хлеба, а иногда, под веселую руку, даже бросает в толпу разъяренных баб пригоршни гривенников. Я положительно не знаю ничего паскуднее этого развлечения (им по преимуществу злоупотребляют разноплеменные хищники, отдыхающие летом в своих виллах), но серый человек еще охотно фигурирует в нем в качестве увеселителя. К чести человечества, надо думать, что наступит же, наконец, момент, когда он очнется и поймет, какой омерзительный смысл заключается в этом паскудном выражении «на водку», в котором теперь он видит нечто вроде подспоря.

Повторяю: жить в деревне только в качестве «хорошего барина» все-таки совестно, и потому я был очень обрадован, когда узнал, что у культурного русского человека, и помимо сельскохозяйственных затей, может существовать вполне деревенское дело, а именно: дело совета, разъяснения, просвещения и посильной помощи. Серый человек изнывает в тенетах круговой поруки – надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсем не в том заключается, чтобы изнурять, а в том, чтобы представлять очень существенные гарантии. Серый человек погибает под игом невежественности – надо пролить свет знания в эту погибающую среду, надо стараться об рассеянии предрассудков, страхов и предубеждений. Серый человек изнемогает от нищеты, поборов, недостатка питания, тесноты жилищ – надо сделать для него доступным дешевый кредит и при этом дать последнему такое направление, чтобы помощь его была чувствительна не для одних волостных старшин, кабатчиков и мироедов, но и для массы действительно нуждающихся.

Я назвал здесь очень немного задач, но заранее соглашаюсь, что их наберутся целые массы, и притом гораздо более существенных. Сказать человеку толком, что он человек, – на одном этом предприятии может изойти кровью сердце. Дать человеку возможность различать справедливое от несправедливого – для достижения этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъяснения громадны и почти неприступны, но зато какие изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывного горения существование!

Позвольте, однако ж. Я говорю здесь совсем не о подвижничестве, а о другом. Я говорю о самых обыкновенных представителях культурной массы, о тех исчадиях городской суеты, для которых деревня составляет, наравне с экипажем, хорошим поваром и пр., одну из принадлежностей комфорта или общепризнанных условий приличия – и ничего больше. Я говорю исключительно об этих людях, потому что покамест это единственный разряд культурных деятелей, состоящих «в законе», и, стало быть, единственный, которого действия и помыслы могут быть

свободно исследуемы. Все остальное закрыто для нас завесой, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, или кого-нибудь введешь в соблазн, или нечто потрясешь.

Поэтому останемся же «в законе» и будем беседовать лишь о том, что доступно нашим исследованиям.

Я охотно допускаю, что и в заурядных представителях культурной массы может зародиться жажда просветительного деревенского дела. Добрых, сострадающих и вообще порядочных людей и в этой массе найдется достаточно. Но дело в том, что по самим условиям своих жизненных преданий, обстановки, воспитания, культурный человек на этом поприще прежде всего встречается с вопросом: что скажет о моей просветительской деятельности становой (само собой разумеется, что здесь выражение «становой» употреблено не в буквальном смысле)? Я знаю, что вопрос этот смешной и что даже довольно близкие наши потомки будут удивляться самой возможности его постановки, но, тем не менее, он, несомненно, существует, и человек, «в законе состоящий», отнюдь не может его миновать. Его постоянно тревожит мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели он и приступит на деле к выполнению своих просветительных поплзновений, то или проведет их не особенно далеко (по губам помажет) или же будет приспособлять свои действия к вкусам и идеалам станowego. И вот, вместо того, чтоб узнать, откуда идут на него те бичи, которые от колыбели до могилы подьедают его существование, в виде мироедов, кабатчиков, засух, градобитий, моровых поветрий и пр., серый человек услышит из уст культурного человека не особенно мудрое и не чуждое сквернословия поучение о том, что первая и главная обязанность есть исполнение приказаний, а все остальное приложится. Но ведь он и без того слышит эту проповедь ежечасно, ежеминутно и от волостного старшины, и от сотского, и даже от кабатчика. И, однако, до сих пор она не накормила его досыта, не дала ему человеческого жилища и ни на один волос не увеличила его материального и духовного благосостояния.

Положим, однако, что культурный человек настолько самолюбив, что не будет справляться со взглядами станowego и захочет действовать самостоятельно, даже независимо от соображения, своевременно или преждевременно; но разве это отречение от идеалов станowego не будет с его стороны только пустой формальностью? Увы! он и сам весь начинен азбучными истинами, он и сам ничего не знает, кроме произвольных, на песке построенных афоризмов прописной морали. Стало быть, ежели слова его и будут иные, то дело все-таки окажется то же.

Сверх того не надо упускать из виду, что культурному человеку, взлелеянному на лоне эстетических преданий, всегда присуща некоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себе происхождение лохмотьев и бескормицы не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляет отождествиться с мирскою нуждой и нести на себе грехи мира сего. Тут и художественные инстинкты, столь могущественные в других случаях, не помогают. Или, вернее сказать, помогают наоборот, то есть вселяют инстинктивный страх и непреодолимое желание избежать зрелища нищеты. Обыкновенно это последнее желание формулируется более или менее прилично: всем, дескать, не поможешь и всей массы бедности не устранишь! Но понятно, что это – только отговорка, на которую возможен один ответ: пробуй, делай, что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня там, где нужен хлеб.

Может, впрочем, случиться и так, что культурный человек каким-нибудь чудом все эти препятствия устранил, то есть сумеет одновременно упразднить и идеалы сотских и эстетику. Однако и за всем тем останется обстоятельство, которое ни под каким видом обойти нельзя. Обстоятельство это заключается в том, что главная задача его жизни совсем не в деревне, а в городе. Говоря таким образом, я вовсе не имею в виду посетителей шпицбалов, но и людей, действительно воодушевленных наилучшими намерениями и преследующих самые почтенные интеллектуальные цели. И для них деревня представляет только временную арену деятельности, к которой, вдобавок, они, в большинстве случаев, не имеют никакой практической подготовки. Атмосфера, которой они дышат, совсем не та, которой дышит деревня; язык, которым

они говорят, не тот, которым говорит деревня; мысли, которые они мыслят, не те, которые мыслит деревня. Поэтому прежде нежели приступить к подлинному деревенскому делу, сколько нужно труда, чтоб опознаться в условиях деятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправный пункт! Но вот наконец точка опоры отыскана, а тут, как на грех, подкралась осень, и культурный человек волей-неволей обязывается оставить случайные задачи, чтобы всецело отдаться задачам коренным, а деревня остается в положении той помпадурши, которая при известии о низложении своего краткосрочного помпадура восклицала: «Глупушка! нашалил – и уехал!»

Нет, просветительная дорога – не наша дорога. Это – дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блюдите да опасно ходите*. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять в руки посох, препоясать чресла и, подобно раскольникам-«бегунам», идти вперед, *вышнего града взыскаю*.

Два лета кряду я живу в своем новом углу, на берегу Финского залива, почти в виду кронштадтских твердынь. Живу, руководствуясь сейчас высказанными соображениями, то есть не зная ни сельскохозяйственных затей, ни просветительных задач. В первом отношении я вполне рассчитываю на серого человека, который сам не доест, а нас не оставит без провианта; во втором полагаюсь на земские управы, которые, по соглашению с начальством, полегоньку да потихоньку, наверное, когда-нибудь устроят судьбу серого человека к беспечальному концу. Я же засел в своем углу и наслаждаюсь пальбою с кронштадтских твердынь, которая потрясает окна моего Монрепо и которая, собственно говоря, составляет единственное здесь развлечение.

Жизнь моя здесь течет в уединении и полном безмятежии. Сена – мало, жита – и того меньше; зато есть благоустроенный парк, в котором родится множество белых грибов и в котором можно гулять даже немедленно после дождя. Сверх того, есть порядочный сосновый лес и река, на которой устроена мельница, а следовательно, существует и запруда. Одним словом, было бы даже очень хорошо, если б капельку побольше красного солнышка и поменьше ветра со стороны «хладных финских скал». Помилуйте: в целое нынешнее лето я не видел стрелку флюгера обращенной на юг, а все на север или еще того хуже – на запад, потому что ежели северный ветер приносит нам больше, чем нужно, прохлады, то западный гонит нам тучи, которым иногда по целым неделям конца не видать.

Местность, в которой расположено сказанное Монрепо, обыкновенная местность ближайших окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтоб живописная, нельзя сказать, чтоб веселая, но зато, несомненно, веселонравная. Справа у меня – деревенский поселок, при въезде в который стоит столб, и на нем значится: душ 24, дворов 10. На это не особенно громадное население существует два кабака, которые очень редко пустуют. Сверх того, с небольшим в полуверсте от меня, налево, рядом с моей границей, воздвигнут третий кабак. Вообще кабакам в этой местности посчастливилось. Когда я еду на станцию железной дороги, то на пространстве четырнадцати верст до шоссе (на котором уже начинаются высокопоставленные дачи и, стало быть, кабаков нет) встречаю еще четыре кабака. А между тем местность эта вполне пустынная, и только в одном месте, в стороне, виднеется довольно большое село, которое, конечно, обладает своими собственными кабаками.

Население здесь смешанное. Большинство – чухны, меньшинство – не скажу, чтобы совсем русские, а скорее какая-то помесь. Чухны пьют довольно, русские – много. Сверх того здесь пролегает зимний тракт в Кронштадт, который тоже немало способствует процветанию кабаков.

Кабак – это что-то вроде установления, омерзительнее которого трудно что-нибудь себе вообразить. Вокруг кабака растет одичалое племя, которое отдает кабачику всю свою душу и которому положительно ни до чего нет дела. А у нас целых три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный корректив! Да и пьянство здесь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансивное, а сосредоточенное и унылое. Как будто исполняется горькая задача,

от которой никак нельзя отбиться. Идет человек по дороге и вертит зрачками – это значит, что он еще бодрится. Прошел несколько шагов, споткнулся и уж храпит. Был у меня в прошлом году мельник из чухон, поистине честный и добропорядочный человек. Видя, что он от времени до времени вертит зрачками, я пробовал его уговорить и, по-видимому, даже успел. Целых два месяца я видел его постоянно трезвым, но вот пришла осень, и малый не вытерпел. Осень здесь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно над кладбищем стон стоит. Одним вечером мельник урвался кратчайшим путем, по лавам, брошенным через речку, в кабак и там выполнил свою задачу серьезно и бесшумно. Возвращаясь тем же путем на мельницу, он уже не попал на лавы, а шагнул прямо в реку и утонул. Место это отстоит от мельницы в нескольких шагах, но никто не слышал криков о помощи. Вероятно, несчастный даже не понимал, что тонет, а думал, что ложится спать.

Повторяю: кабак, возведенный в принцип, омерзителен, но при этом оговариваюсь: может быть, оно так надобно. Нужно, быть может, чтоб люди вертели зрачками и не понимали, куда они ложатся, в постель или в реку. Почему так нужно – этого, конечно, мы не можем знать: не наше дело.

Благо неведущим. Знание, говорят, старит, а мы каждодневно молодеем. «Изба моя с краю, ничего не знаю» – успокоительнее этого девиза выдумать нельзя. Особенно ежели жить с умом, то можно даже деньги при помощи этого девиза нажить. Вот, например, владелец двух кабаков, которые держат меня в осаде справа и слева, – тот только и говорит: «Не нашего, сударь, это ума дело». Говорит и стелет да стелет кругом паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись в усадьбе; зажимаю нос и уши, замурываю глаза и твержу: «Не наше дело! не наше дело! не наше дело!» Это – слова могущественные и отлично разбивают не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти и уже без малейшего волнения смотреть, как взад и вперед снуют подводы, нагруженные бочками, бочонками, бутылками и бутылками. О чем тут скорбеть? На что негодовать? Гораздо пристойнее видеть в этом маятном движении бочонков и бутылей только виды внутренней торговли и накопления богатств: хоть сейчас садись и пиши статистику. И статистика выйдет не бесплодная, но полная поучительных выводов, из которых можно усмотреть вполне ясно, где таятся истинные источники нашего народного веселья, нашей силы и мощи: все там, все в этих бочонках и бутылках. Недаром во время сербской войны один кабатчик-столп потчевал «гостей» водкой под названием «Патриотическая», а другой кабатчик-столп, соревнуя первому, утвердил на «выставке» бутылку с надписью «На страх врагам». И все, которые пили обе эти водки, действительно чувствовали, что им море по колено...

Да, эти «столпы» знают тайну, како соделывать людей твердыми в бедствиях, а потому им и книги в руки. Поймите, ведь это тоже своего рода культурные люди и притом не без нахальства говорящие о себе: «Мы сами оттуда, из Назарета, мы знаем!» И действительно, они знают, потому что у них нервы крепкие, взгляд острый и ум ясный, не расшатанный вольнодумными софизмами. Это дает им возможность отлично понимать, что по настоящему времени самое подходящее дело – это перервать горло.

Одного только не ведают: срастется ли раз перерванное горло, и ежели не срастется, то как с этим быть?

Не наше дело.

Продолжаю начатую материю о Монрепо. Имение это служит наглядным примером производительности культурного труда и тех выгод, которые можно из него извлечь. Некогда оно принадлежало так называемому «хозяину», и вдобавок еще инженеру, стало быть, человеку, не лишенному хотя некоторых прикладных знаний. Владелец этот, очевидно, имел намерение сделать из своего имения «золотое дно». Он положил основание господской мызе, выстроил не особенно изящный, но крепкий и поместительный дом, снабдил его службами и скотным

двором, развел парк, плодovitый сад, затеял обширный огород (вероятно, хотел изумить мир капустой и огурцами), устроил мельницу, прорезал всю дачу бесчисленными канавами, вследствие чего она получила вид шахматной доски, и заключающиеся между канавами участки земли поднял и засеял травой. Хлеба у него высевалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной риги, остатки которой уцелели и поныне, а в особенности по чугунным трубам, с помощью которых нагревалась сушильня и которые валяются и поднесь. Получал ли какие-нибудь доходы с этого имения заботливый хозяин-землевладелец – это неизвестно; но вероятнее всего, что не получал, а все устраивался и устраивался. Но что несомненно известно – это то, что он истратил на имение «многие тысячи». И не крепостным трудом истратил, а чистоганом, потому что крепостной труд каких-нибудь 24 душ даже заметным подспорьем не мог служить в таком значительном предприятии. Затем основатель усадьбы умер, и имение начало переходить из рук в руки, причем никто продолжительно им не владел. Последний владелец, от которого мыза наконец дошла ко мне, тоже, как говорят, потратился: усовершенствовал парк, меблировал дом, пытался расчистить некоторые канавы и пр. Вероятно, и тут дело не обошлось без «многих тысяч». А сколько одновременно с этими «многими тысячами» было потрачено легкомыслия, сколько видела эта бедная мыза претерпения и ропота, сколько слышала она хульных слов!..

Мне она досталась с расходами по купчей крепости и с издержками по водворенью в сумме приблизительно до пятнадцати тысяч рублей. Вот чем разрешились и «многие тысячи» и многолетние претерпения. Кажется, красноречивее этого факта нельзя себе ничего вообразить.

А сколько сверх того было уплачено крепостных пошлин при переходах имения из рук в руки? сколько было рассорено денег на сводчиков и маклеров, сколько употреблено суеты и беготни при отыскивании покупщика? Этого, наверное, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Мне могут возразить, что бывшие владельцы все-таки кой-чем воспользовались, и именно лесом (нынешний лес не особенно стар, лет 30–35, не больше, а есть участки и моложе). Действительно, громадные пни, встречающиеся на каждом шагу, свидетельствуют, что лесу сведено достаточно, но, во-первых, большая его часть была, несомненно, употреблена на нужды самого имения, а, во-вторых, ежели двое-трое из кратковременных владельцев (едва ли даже они жили в имении) и урвали что-нибудь, то, право, сущую безделицу.

Люди, которым всегда «до зарезу» нужно рублей 100–200, не особенно следят за процессом их добывания, лишь бы «зарез» был поскорее удовлетворен. Так было и тут, о чем даже существуют анекдоты, в которых фигурируют, с одной стороны, культурные люди, с другой – столпы, удовлетворяющие этому «зарезу» не без пользы для себя.

В настоящее время, повторяю, это уголок довольно благоустроенный, хотя и не без важных недостатков, а именно:

Недостаток первый: солнце здесь такое же скупое, как и в Петербурге. Оба проведенные мною лета были в этом смысле очень неудовлетворительны. В прошлом году залили дожди, в нынешнем – 27 июля ударил первый морозец. Можно ли ожидать в будущем лучшего лета – не знаю, потому что в Петербурге вообще имеют смутное понятие о благорастворении воздушных. Были, впрочем, и для здешнего края, очевидно, лучшие времена. Это доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вымерзание которых довершилось лишь недавно. Стало быть, когда-то здесь было возможно разводить яблоки. А нынче, судя по последним двум годам, скоро и простой огурец сделается оранжерейным растением.

Второй недостаток: все еще чересчур много земли (всего около 160 десятин). Конечно, большинство ее находится под лесом, но есть, к сожалению, и такие участки, которые «ах, кабы эту землю к рукам – кажется, лопатой бы деньги загребал!» Как ни велико мое воздержание от сельскохозяйственных предприятий, а все-таки нет-нет да и поддашься на льстивые речи. То канавку прочистишь, то поднимешь участочек, потому что ежели совсем бросить, то земля

мохом прорастет и траву косить будет негде. А сено нужно, так как на скотном дворе стоит штук до десяти травоядных.

Третий недостаток: мельница. В нынешнем году я вынужден был всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мне ровно тысячу рублей, кроме бревен, которые были выпилены из своего леса. Теперь все любят плотину и говорят: денег не пожалели, зато она у вас на двадцать лет без поправки пойдет! Но известно мне, что года три тому назад бывший владелец тоже «значительно исправил» плотину, и, вероятно, ему тоже говорили: теперь она на двадцать лет пойдет! А доход с мельницы двоякий: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходов «не слышим много»; ежели осень сухая, то в очистку приходится – нуль.

Четвертый недостаток: слишком просторен огород. Поднять его, сделать гряды и потом несколько раз в лето прополоть последние – стоит одной поденщиной, не считая постоянных мызных работников, по малой мере двести рублей. Да навозу пойдет целая уйма, да садовнику в год надо заплатить 360 рублей. А к концу лета получаются и плоды этих затрат. Огурцы, например, «принялись было весело», но вдруг сделалось «сиверко», и в тот самый момент, когда в Петербурге вся Сенная завалена огурцами, у вас нет ничего. То же самое и с цветной капустой: в августе ее всякий столоначальник в Петербурге ест, а в Монрепо показываются в это время только зародыши, и зреет надежда, что в сентябре четыре-пять кочней выйдут «вполне». Остается, стало быть, капуста да картофель, овощи серьезные, не боящиеся непогод, но слышанное ли дело съесть этого добра на пятьсот, шестьсот рублей в год?

Одним словом, происходит нечто в высшей степени странное. Земля, мельница, огород – все, по-видимому, предназначенное самою природой для извлечения дохода – все это оказывается не только лишним, но и прямо убыточным...

Поэтому истинное пользование «своим углом» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будет ни лугов, ни лесов, ни огородов, ни мельниц. Скотный двор можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, что обойдется дешевле и притом составит расход, который заранее можно определить, а следовательно, и приготовиться к нему. Можно упразднить и прислугу, а держать только сторожа и садовника, необходимого для увеселения зрения видом расчищенных дорожек и изящно убранных цветами клумб.

Когда все это будет достигнуто, культурный человек может наслаждаться и отдыхать по всей своей воле. А ежели надоест ему отдыхать, то может и заняться тем делом, которое ему по душе.

Но какое же это дело? – вот в чем вопрос.

Странная вещь, но когда встречаешься с этим вопросом, делается не только просто совестно, но почти тоскливо-совестно.

Объяснение этой тоски, я полагаю, заключается в том, что у культурного русского человека бывают дела личные, но нет дел общих. Личные дела вообще несложны и решаются быстро, без особых головомных дум; затем впереди остается громадный досуг, который решительно нечем наполнить. Отсюда – скука, незнание куда преклонить голову, чем занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда перед глазами постоянно мелькает пустое пространство, то делается понятным даже отчаяние.

Повторяю: в массе культурных людей есть уже достаточно личностей вполне добропорядочных, на которых насильственное бездействие лежит тяжелым ярмом и которые тем сильнее страдают, что не видят конца снедающей их тоске. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишним на почве общественных интересов, право, нелегко. От этого горького сознания может закружиться голова, но, сверх того, оно очень близко граничит и с полным равнодушием.

Чтобы читать книжку, следить за наукой, литературой и искусством – для всего этого нет никакой надобности в своем собственном угле, и в особенности на берегу Финского залива. Гораздо более удобств в этом смысле представляют Эмсы, Баден-Бадены, Трувилли, Буживали, Лозанны и пр.

Для чего культурному человеку изнывать в каких-то сумерках, лишенных света и тепла, когда те задачи, преследование которых ему доступно, он может вполне удобно переносить с собой в такие местности, в которых вдоволь и тепла и света? Для чего он будет выносить в своей Заманиловке тьмы тем всякого рода лишений и неудобств, когда при тех же материальных затратах он может «в другом месте» прожить без мучительной заботы о том, позволит ли подоспевший сенокос послать завтра в город за почтой?

Человек – животное общественное, а в Заманиловке он обязывается временно одичать; человек – животное плотоядное, а в Заманиловке он обязывается сделаться отчасти млекопитающим, отчасти травоядным. Наконец, Заманиловка заставляет его нуждаться в услугах множества лиц, что в высшей степени неприятно щекочет совесть. И к довершению всего, перед глазами – пустое пространство.

Вникните в это положение, и вы должны будете сознаться, что оно поистине мрачно. Есть натуры очень строптивые и упорнолюбящие, в которые червь равнодушия заползает лишь после долгой борьбы, но и те, в конце концов, уступают. Капля точит камень.

И вот перед этими людьми встает вопрос: искать других небес. Там они тоже будут чужие, но зато там есть настоящее солнце, есть тепло и уже решительно не нужно думать ни о сене, ни о жите, ни об огурцах. Гуляй, свободный и беспечный, по зеленым паркам и лесам, и ежели есть охота, то решай в голове судьбы человечества.

Я высказываю здесь далеко не все, что можно было бы сказать об этом предмете; я поднимаю только малейший угол завесы, скрывающей бесконечную перспективу, но уверяю, от одной мысли об этой перспективе становится неловко.

Как-то ничто не спорится нам, и каждый наш успех почему-то оказывается фиктивным. Двоегласие очевидно, и оно невольно заставляет предполагать, что рядом с успехом идет нечто такое, что тут же, сейчас же подрывает его.

В чем же, однако ж, беда? откуда она идет и почему над нами струсилась?

Но тут я должен поставить точку и закончить словами, которые покамест на всякий вопрос представляют наиболее подходящий ответ, а именно: не наше дело.

ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО

*Мы живем среди полей
И лесов дремучих...*

Нынешней осенью, живя в Монрепо, я был неожиданно взволнован: в наше село переводили станovou квартиру...

В деревне подобные известия всегда производят переполох. Хорошо ли, худо ли живется при известной обстановке, но все-таки как-нибудь да живется. Это «как-нибудь» – великое дело. У меньшей братии оно выражается словами: живы – и то слава Богу! у культурных людей – сладкой уверенностью, что чаша бедствий выпита уж до дна. И вдруг: нет! имеется наготове и еще целый ушат. Как тут быть: радоваться или опасаться?

В настоящем случае поводы радоваться, несомненно, существовали. До сих пор мы жили совсем без начальства, как овцы без пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особливо нам, культурным людям, приходилось плохо. Работник загуляет или заспорит в расчете – как с ним рассудиться? В лесу пропадет дерево, или в огороде срежут кочан капусты – к кому звать об отмщении? А с мальчишками сельскими так просто сладу нет: обнесите от них решеткой – они под решеткой лазы сделают; обройтесь канавой – через неделю вся канава изукрасится тропами. Как тут быть? Мировой судья судит от нас в двадцати пяти верстах; становой пристав живет где-то уж совсем за болотами, так что легче в Париж съездить, чем до него добраться. Сотские – мирволят; волостной старшина – тот на все жалобы только икает: мне, дескать, до вас, культурных людей, дела нет! В виду всего этого мне и самому не раз-таки приходило в голову: вот кабы становой был поближе, тогда... Стало быть, теперь, когда желание мое было осуществлено, я имел, по-видимому, полное основание считать себя довольным и осчастливленным.

Но были поводы и для опасений, и прежде всего – неизвестность. Конечно, я имел о становом достаточно отчетливое понятие, но о становом дореформенном, которого и в глаза и за глаза называли куроцапом. В местностях, изобиловавших культурными людьми, это было существо вполне жалкое, в потертом вицмундире с дрожащими сзади фалдочками, с воспаленными от дорожной пыли глазами, с физиономией, замасленной, как блин, и не имевшей никакого иного выражения, кроме готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И как дополнение к нему становиха, сухая как щепка, вследствие непрерывных беременностей, но и за всем тем беременная. Такого станового, разумеется, опасаться было нечего. Но ведь с тех пор много воды утекло. Говорят, будто становым новые мундиры пошили, и с тех пор будто бы они приняли в свое заведывание основы и краеугольные камни. И еще говорят, будто они, «яко боги», получили дар читать в сердцах человеческих и что вследствие сего, ежели прочтут в чьем сердце обращенное к ним слово «куроцап», то сейчас же делают соответствующее распоряжение. А, наконец, некоторые утверждают, что они самим названием «становой пристав» уже начинают тяготиться, признавая его не исчерпывающим всего содержания их деятельности, и ходатайствуют, чтобы им присвоен был такой титул, который прямо говорил бы о сердцеведении, и чтобы в сообразность с ним было, разумеется, увеличено и самое содержание. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживают вероятия, но если верно из них хоть одно то, что становым дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будет, если «он», вместо того чтобы ограждать мои луга от потравы, начнет читать в моем сердце? Прочтет одну страницу, помуслит палец, перевернет, прочтет другую и так далее до конца?

В виду этих сомнений я припоминал свое прошлое – и на всех его страницах явственно читал: куроцап! Здесь обращался к настоящему и пробовал читать, что теперь написано в моем сердце, но и здесь ничего, кроме того же самого слова, не находил! Как будто все мое миросо-

зерцание относительно этого предмета выразилось в одном этом слове, как будто ему суждено было не только заполнить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходил я по аллеям своего парка и инстинктивно перебирал в уме названия различных более или менее отдаленных городов. Потом пошел на мельницу, но и там шум бегущей воды навевал на меня унылые мысли. «Жизнь человеческая, – думалось мне, – подобна этой воде. Сейчас мы видим ее заключенной в бассейне, а через момент она уже устремляется в пространство... куда?» Потом пошел по реке к тому месту, где вчера еще стояла полуразрушенная беседка, и, увидев, что за ночь ветер окончательно разметал ее, воскликнул: «Быть может, подобно этой беседке, и моя полуразрушенная жизнь...»

Одним словом, какая-то неопределенная тоска овладела всем моим существом. Иногда в уме моем даже мелькала кощунственная мысль: «А ведь без начальства, пожалуй, лучше!» И что всего несноснее: чем усерднее я гнал эту мысль от себя, тем назойливее и образнее она выступала вперед, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконец я не выдержал и отправился на село к батюшке в надежде, что он не оставит меня без утешения.

Батюшка уже был извещен о предстоящей перемене и как раз в эту минуту беседовал об этом деле с матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомневались, подобно мне, но прямо радовались, что и у нас на селе заведется свой *jeune home*³. Так что когда я после первых приветствий неожиданно нарисовал перед ними образ станового пристава в том виде, в каком он сложился на основании моих дореформенных воспоминаний, то они даже удивились.

– Помилуйте! да вы об ком это говорите! – воскликнул батюшка, – наверное, про Савву Оглашенного (был у нас в древности такой становой, который вполне заслужил это прозвище) вспоминаете? Так это при царе Горохе было, а нынче не так! Нынешнего станового от гвардейца не отличишь – вот как я вам доложу! И мундирчик, и кепё, и бельецо! Одно слово, во всех статьях драгунский офицер!

– А какой у нашего нового станового образ мыслей! – томно присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не без волнения слушал эти похвалы, потому что они подтверждали именно то, чего я боялся. В особенности напоминание об «образе мыслей» встревожило меня.

– Говорят, будто он будет в сердцах читать? – робко спросил я. – Правда ли это?

– Всенепременно-с.

– Помилуйте! да что же он там прочтет?

– Что написано, то и прочтет. Ежели у кого написано: не похваляется – он и в ремарку так занесет; а ежели у кого в сердце видится токмо благое поспешение – он и в ремарку напишет: аттестуется с похвалой!

– Батюшка! да как же это! ведь он куроцап!

Батюшка удивленно вскинул на меня глазами и даже слегка помычал.

– Это прежде куроцапы были, а по нынешнему времени таких титулов не полагается, – холодно заметил он, – но ежели бы и доподлинно так было, то для имеющего чистое сердце все равно, кому его на рассмотрение предъявлять: и «куроцап» и «не куроцап» одинаково найдут его чистым и одобрения достойным! Вот ежели у кого в сердце свило себе гнездо злоумышление...

Батюшка остановился: он понял, что не великодушно добивать колкостями и без того уже убитого человека, и с видимым участием спросил:

– Разве чувствуете какую-либо вину за собой?

³ Молодой человек (*фр.*)

Вопрос этот смутил меня. И прежде не раз мелькал он передо мной, но как-то в тумане; теперь же, благодаря категорическому напоминанию батюшки, он вдруг предстал во всей своей наготе.

– Бывало... – ответил я уклончиво.

– Например?

– Да вообще... вся жизнь... Вот хоть бы «филантропии» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Как вы думаете, повредит это мне?

– Смотря по тому... Разные «филантропии» бывают: и доброкачественные и недоброкачественные. За первые – похвала, за вторые – взыскание.

– То-то и есть, что я сам своих «филантропий» не разберу. Прежде мне казалось, что они доброкачественные, а вот теперь... Например, такая мысль: хотя свобода есть драгоценнейший дар творца, но она может легко перейти в анархию, ежели не обставлена в настоящем уплатой оброков, а в будущем – взносом выкупных платежей. Эту мысль я зарубил у себя на носу еще во время освобождения крестьян и, я помню, был даже готов принять за нее мученический венец. Как вы полагаете, какова эта «филантропия»? доброкачественная или недоброкачественная?

– По-моему, доброкачественная! Только вот «свобода»... Небольшое это слово, а разговору из-за него много бывает. Свобода! гм... что такое свобода?! То-то вот и есть... Не было ли и еще чего в этом роде?

– Было и еще. Когда объявили свободу вино, я опять не утерпел и за филантропию принялся. Проповедывал, что с вином следует обходиться умненько; сначала в день одну рюмку выпивать, потом две рюмки, потом стакан, до тех пор, пока долговременный опыт не покажет, что пьяному море по колено. В то время кабатчики очень на меня за эту проповедь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

– Как вам сказать? – произнес он, – большой недоброкачественности и в этом не видится, а есть, однако... Откровенно вам доложу: на вашем месте я бы кабатчиков не трогал. Почему бы не трогал? – а потому, сударь, что кабатчик по нынешнему времени есть столп. Прежде были столпы – помещики, а нынче столпы – кабатчики. Поэтому я бы и не трогал их.

– Но ведь по существу...

– По существу – это точно, что особенной вины за вами нет. Но кабатчики... И опять-таки повторю: свобода... Какая свобода, и что оною достигается? В какой мере и на какой конец? Во благовремени или не во благовремени? Откуда и куда? Вот сколько вопросов предстоит разрешить! Начни-ка их разрешать, – пожалуй, и в Сибири места не найдется! А ежели бы вы в то время вместо «свободы»-то просто сказали: улучшение, мол, быта, – и дело было бы понятное, да и вы бы на замечание не попали!

– Но кто же мог это предвидеть? Кто мог думать, что когда-нибудь становые будут читать в сердцах?

– Мудрый все предвидит. Мудрый так поступает: что ему нужно – выскажет, а себя под сидеть – не допустит. Мудрый, доложу вам, даже от слова «филантропия» воздержится, а просто скажет «благое, с дозволения начальства, поспешение» – и кончен бал!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то с участием покачал на меня головой.

– Впрочем, – продолжал он, – ежели настоящим манером разъяснить и притом с рассказом...

– Да вы, батюшка, со становым-то знакомы? – ухватился за эту мысль я.

– Знаком достаточно. Малый отличнейший! Молодой человек, кепё и все такое... Строгонек, конечно, но... с понятием.

– Так вот бы вы... Постарайтесь уж, батюшка! ведь тут вся штука в том, чтоб дело было представлено в надлежащем виде.

К моему удовольствию, батюшка согласился на мою просьбу. Он не взялся, конечно, отстаивать мою абсолютную правду, но обещал защитить меня от злостных преувеличений, к

которым, наверное, не усомнятся прибегнуть кабатчики, чтоб очернить меня перед начальством. Со своей стороны, я вспомнил, что нынешней осенью мне прислали сотню кустов какой-то неслыханной земляники, и предложил матушке в будущем году отделить несколько молодых отростков для ее огорода.

На селе, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своим выставкам изящный вид. Однажды, проходя мимо меня, кабатчик Прохоров (он же по воскресеньям и праздникам открывал у себя сельский танцкласс) бойко приподнял картуз и поздравил:

– С начальством-с!

– Не боитесь?

– Напротив-с. Даже-с с надеждою ожидаем.

Я достаточно на своем веку встречал новых губернаторов и других сильных мира, но никогда у меня сердце не ныло так, как в эти дни. Почему-то мне вдруг показалось, что здесь, в этой глуши, со мной все можно сделать: посадить в холодную, выворотить наизнанку, истолочь в ступе. Разумеется, предварительно завинив в измене, что при умении бойко читать в сердцах сделать очень нетрудно. Поистине, никогда я такого скверного чувства не испытывал.

Я понимал, что я российский дворянин, но и только. Затем я искал кругом себя тына или ограды, к которым можно бы, в случае нужды, прислониться, – и не находил. Я не состоял на службе – следовательно, с этой стороны защиты не имел. Я не пользовался громким титулом – следовательно, никого не мог пугнуть высокопоставленными связями. Я не был особенно богат – следовательно, никто не надеялся, что я под веселую руку созову у себя во дворе толпу мужиков и баб, заставлю их петь и водить хороводы и первым поднесу по стакану водки, а вторых – оделю пряниками. Кроме того, я никого не ограбил, контрактов на продовольствие армии и флотов не заключал, ничьим имуществом насильственно не завладел и даже ни у кого ничего на законном основании не оттягал – следовательно, никому не внушил ни страха, ни уважения. Это было до такой степени омерзительно, что многим казалось даже странным: зачем я живу? И уже, наверное, всякому думалось: «Вот кабы на место этого расслабленного да поселился в Монрёпо лихой купчина Разуваев (мой сосед по имению), то-то бы веселье у нас пошло!» Но этого мало. Вместо того, чтобы как можно бесповоротнее позабыть, что я российский дворянин, я с удивительной назойливостью об этом помнил. Я сохранил вкус к разведению садов и парков, что уже само по себе свидетельствует о заносчивости; но, сверх того, я не «якшался» и – говорят даже – выказывал наклонность «задирать нос». Существовал ли этот последний факт в действительности – по совести, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вероятно, в самой моей отчужденности («неякшании») было что-нибудь такое, что давало повод обвинять меня и в «задирании носа». И, разумеется, это еще больше раздражало. «Мразь, а тоже, как мышь на крупу, надувается!» – в один голос твердили столпы-кабатчики.

Оголтелый, отживающий, больной, я сидел в своем углу, мысленно разрешая вопрос: может ли существовать положение более анафемское, нежели положение русского дворянина, который на службе не состоит, ни княжеским, ни маркизским титулом не обладает, не заставляет баб водить хороводы и, в довершение всего, не имеет достаточно денег, чтобы переселиться в город и там жить припеваючи на глазах у высшего начальства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.